



СЛОВО О ЧАРОДЕЕ

Когда начинало темнеть — с охоты возвращался отец.

И всегда это было ново, неповторимо, несло в себе встречу е неизъянимо волнующим, с природой.

Сколько раз мы, не выдержав, подбегали к заветной калитке, брались за железную щеколду — отца все не было. И когда еще не исчезало ребячье разочарование и досада, — у калитки слышалось нетерпеливое повизгивание и поскребывание.

Мы бросались наперегонки.

Визг и взлаивание Дианки сливались с нашим криком, будоражили вечернюю улицу. Гладкошерстный пойнтер вертится волчком, постукивает хвостом, как палкой, по ребячьим ногам, вскидывается на дыбки и упирается передними лапами с тупыми когтями то в одного, то в другого из нас, успеваает при этом лизнуть каждого в подбородок, в губы горячим языком.

Не спеша приближается отец. Мы толкаемся, жадно оглядываем кожаную сумку. Она сейчас дороже нам сказочной скатерти-самобранки.

С осенних высыпок отец приносил из листопадного леса длинноклювых большеголовых вальдшнепов. Удачей считалось, подлинным охотничьим счастьем попасть «на высыпку» —

дневку лесных куликов. Здесь застала их в ночном полете утренняя заря — и вот «высыпка». А на завтра ее может не быть.

Приносил чаще, чем вальдшнепов, сытых перепелов, серых куропаток, диких уток, иногда красавцев фазанов.

Отец какое-то время стоит, не делает шага — дает нам счастливые минуты рассмотреть охотничьи трофеи, заодно и самому еще пережить и насладиться недавним, что было в лесу, что было в степи, в поле.

Зимними белыми сумерками отец приносил притороченных к кожаному ремню и сумке зайцев-русаков с пуховой шишечкой хвоста и курчавым серо-коричневым мехом с искрой по вытянутой спинке до самой ушастой головы.

Едва веря, мы вдруг обнаруживали вместо русаков лисицу-огневку с откинутым пышным хвостом.

Неказистая сумка, о долготелье которой можно было судить по жесткой, будто одеревеневшей коже, латаной по-сапожничьи посредством шила и дратвы, — выглядела для нас кладом бесчисленных богатств, хранилищем диковинок похлеще сказочных. Что сказка — было ли то, не было, а отцова сумка таила в себе чудесные трофеи, их

можно было не только смотреть, но и трогать, гладить, держать в своих руках.

Бывали, увы, и разочарования, очень огорчительные встречи. На отцовской сумке, на ремне, в сетке ягдташа не оказывалось трофеев, она была пуста.

Не веря глазам, мы совали руки в сумку и шарили по ней в непотерянной еще насовсем надежде обнаружить невиданный трофей.

И тогда мы слышали отцовы слова:

— Пожалел я косоного, так он горько заплакал, так жалобно начал просить меня не губить его ради малых деток-зайчатушек, что не стал я стрелять — отпустил косоного по живу, по здраву. Ладно, говорю, так тому быть.

Видя, что мы верим-не верим его рассказу, отец, оживляясь, а там и похохатывая, досказывал:

— Вот бы вы посмотрели, как обрадовался тут косоный. Эх и дал стрелача на всю сажень от сугроба на сугроб! И-и-их!..

Тут отец спохватывался и брался за сумку:

— А до того, как ему убежать, оставил он мне в благодарность за то, что я не стал его стрелять, а помиловал ради малых детушек, вот этот подарок...

Из сумки отец извлекал мерзлую краюху хлеба с приставшими перышками, шерсткой, пороховинками, крупичками соли.

— Вот он — заячий хлеб! Вкусный, я его всю дорогу жевал будто пряник. Дианке кину — она свой кусок на лету хватает.

Мы видели только эту краюху и уже тянулись к ней руками.

— Дай, дай!

— Мне, мне!..

Поддаваясь ребячьей суматохе, отец поднимал краюху над головой, кричал что-то вместе с нами, весело топал мерзлыми валенками.

Каждый получал свою часть заячьего подарка и бережно сжимая в кулачке, как сокровище, торопился в хату показать ни с чем не сравнимый дар матери и сестренкам. Об обычных

охотничьих трофеях никто не думал и не вспоминал в эти чудесные мгновения.

Давно минувшие картины детства вспомнились, да как же ярко, когда я читал маленький рассказ Михаила Михайловича Пришвина «Лисичкин хлеб». В нем писатель-чудесник, писатель-чародей поведал о лисичкином подарке доброму человеку, пожалевшему зверя, а во мне отозвалось свое, пережитое и, казалось, накрепко позабытое. Мало ли что было, что происходило с каждым из нас в жизни, в той изначальной личной поре, когда человек еще был мал, когда он представлял собой ребенка!

Удивительный дар художника-рассказчика развеял стену забвения, вернул мне (да только ли мне!) лучшую пору человеческой жизни — его детство с поэтическим видением, со сказочными открытиями, с тем милым навсегда и дорогим миром природы, где все одухотворено — и птицы, и зверушки, растения, дубравы и воды, тихие и шумящие...

В мальчишеские, отроческие годы полюбилась мне простая и доверительная речь Сергея Тимофеевича Аксакова, его по-русски мудрое толкование живой природы от гриба и ягоды до серых утиц и белых лебедей. Книга «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» вводила меня из тесной саманной хаты с окном на погреб и сгорбленный деревянный сарай, распаивала горизонты, отодвигала их за неведомый край земли. «Рассказы охотника» Ивана Сергеевича Тургенева и восторгали и печалили родными картинами, тонко и неприметно раскрывали людские характеры и судьбы. Следом приходили книги Владимира Галактионовича Короленко и Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка. Полесье и Урал с их сосновыми лесами, тихими заводами и своенравными реками. Гений Льва Николаевича Толстого потрясал и захватывал.

Чему бы после них мог себя посвятить новый писатель, чем увлечь и тем более потрясти! Вон какие фолианты,

какие книжные глыбы!

Беру пришвинские книги — перед глазами крохотные рассказы. Иной в две-три строчки, в десяток-полтора! Чему бы здесь, какому сюжету развернуться, о чем рассказать!

Читаю. И удивительно: пишется о том же, о чем зачастую писали и Аксаков, и Тургенев, писали другие, но от этого ничуть не притупляется мой интерес, мое внимание. У Пришвина как-то по-своему устроен глаз, он по-особому видит окружающее, большое и малое, а в малом раскрывает большое, в частном находит общее; умеет очень лично, по-пришвински передать внутреннюю красоту, поэтическую сущность природы, ее неувядающие ценности.

И с прочтением этих рассказов теплеет на сердце, становишься добрее, видишь, как все вокруг близко и дорого тебе. Становится понятным признание Сергея Есенина —

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

Вот какой-то птичик взлетел на вершину дерева — и поет. Человеческое ухо не слышит его, птичика, пения. Что из этого! Поет он не для кого-то, кому-то постороннему. Нет и нет. Птичик поет, как заведена в природе, потому что не петь он не может, ему хорошо — вот он и поет. Клювик его раскрыт, и если его не слышат, пусть будет так, но это несколько не касается крохотного певца, — он исторгает трели с вершины дерева в безграничный мир.

Чтобы разглядеть птичика с раскрытым для пения клювиком, писатель исходил и изъездил все вокруг, где он жил, где он трудился. Из этих поездок и прогулок появилась не одна книжка, среди них — «В краю непуганых птиц». Давно она вышла в свет, книжка о Карелии, о Лапландии, нашем северном крае, а само название пришвинской книжки стало всераспространенной метафорой, крылатой фразой. В скольких произведениях и живописных полотнах

нашла она свое образное выражение! И чем больше человек обживает и осваивает землю, тем символичнее становится фраза о крае непуганых птиц — напоминанием и предостережением, призывом к бережному отношению к природе, к ее сохранению для блага людей,

Михаилу Михайловичу Пришвину во многом принадлежит честь художника — первооткрывателя.

Мы давно привыкли к календарю, к привычному разделению на времена года от весны до зимы. Но писатель увидел весну с такой ее стороны, с какой другие не видели, и назвал изначальную ее пору, когда еще нет-нет да пробуют метели, ледяной хваткой сдавят все морозы — весной света.

Только поэтическое озарение могло дать открытие весны света.

За нею идет, по выражению писателя, весна воды, вешнего таяния и разливов, а следом — весна зелени, растительного обновления прогретой земли, буйного цветения.

С легкой руки Пришвина широко утвердилось в литературе красочное представление о пятнистом олене, как «олене-цветке».

Сказать, что его рассказы о животных полны живости и тончайших наблюдений — это еще ничего не сказать: мало ли написано в прошлом и пишется теперь таких рассказов — натуралистическое начало в них преобладает, держит авторов в твердых границах. А прочитайте такие, как «Анчар», как «Смертный пробег», и сколько переживаний охватит вас, потрясет и оставит глубокий след, оставит возможно навсегда.

Роковой выстрел настигает на гону полного сил и азарта великолепного гончака Анчара. «Синий дым лег на зеленую лощину. Жду я, жду, и мгновения проходят, как годы, и нет Анчара, нет: из дыма не вышел Анчар. Как рассеялось, — вижу, спит мой Анчар на траве вечным сном на зеленой траве, как на постели.

С высоких деревьев на малые

капают тяжелые осенние капли, с малых — на кустики, с кустов — на траву, с травы — на землю: печальный шепоток стоит в лесу и стихает только у самой земли — тихо принимает в себя земля все слезы...

А я на все сухими глазами смотрю...»

Не одну жалость, не одну печаль вызывает рассказ о гибели Анчара от поспешного выстрела приятеля, напарника по охоте. Здесь веем развитием драмы остро встает вопрос о честности человека, о мужестве сказать правду, как бы тяжело и горько это ни было.

Не хватило честности, не хватило мужества у Сергея сказать правду, такому остается одно — обман, утаивание, подлость.

Частный прискорбный случай привел к художественному обобщению одного из вечных вопросов морали и нравственности, внутренних устоев человека.

«Кого ты, Сережа, обманываешь?»

Подобными обобщениями, мудрым течением мысли в ярких образах наполнены, как реки водой, пришвинские произведения от самых малых до поэм в прозе, повестей и романов. Это — «Колобок», «Корень жизни женьшень», «Черный араб», «Кладовая солнца», «Фацелия», «Кашеева цепь». Всего не пересказать. Это — весь Пришвин от первой до последней строки.

И что непостижимо — его классические охотничьи рассказы не возбуждают подспудные инстинкты, не толкают к тому, чтобы схватить ружье и отправиться на поиски дичи, — наоборот, от этих рассказов светлеет на душе, человек становится чище, лучше, добрее. В этом огромное непреходящее воспитательное воздействие пришвинской поэтической прозы на читателя, особенно на молодых.

Нетерпеливая юность в погоне за сюжетной занимательностью, в стремлении сиюминутно узнать, что же произошло впереди, — досадливо

перелистывает книжные страницы, пропускает описания природы, художественные перлы. Такое чтение наносит серьезный ущерб воспитанию художественного вкуса, культуре чтения. Так читать Пришвина, чье 100-летие со дня рождения отмечает наша страна, — нельзя, это противопоказано.

Литературное наследие М. М. Пришвина, одухотворенное неумиравшей любовью к родной земле и родному народу, полно неизбывной художественной силы и высокого патриотизма.

МИХАИЛ УСОВ.